

ИЗ КНИГИ "ПРИЗНАКИ (ПРИЗРАКИ) ЖИЗНИ" (2007)

Порой мы пишем паче чаянья
и только зря конверты тратим.
Письмо в бутылке – жест отчаянья
и одиночества в квадрате.

О жанр самоубийц и смертников,
пронзавший холодом вокзала,
в котором я – одна из сверстников –
всегда стихи свои писала!

И Музы нищенское рубище
навек окажется нетленно...
Стихи – как письма в прорву чудища,
протест против разлуки любящих,
рассеянных во мгле вселенной!

Неутомимо, неотвязно,
как будто вправду человек, –
в окно стучатся ветви вяза,
стучится ветер, дождь и снег.
Уж сколько лет и днём, и ночью
стучится в жизнь незнамо кто,
как будто что сказать мне хочет.
Но что?!

Лес в ноябре. Осыпавшийся, чёрный,
как лепрозорий рухнувших надежд.
Графический рисунок обречённых.
Скелет без тела. Кости без одежд.

Отбушевало лиственное пламя
и превратилось в пепел, прах и дым.
Прорехи света робко меж стволами
сквозят намёком бледно-голубым.

Лес в ноябре. Обугленные души.
Заброшенность. Пронзительность осин.
Но ты всмотришь и жадно слушай, слушай,

что этот лес тебе всё тише, глуше
бескровно шепчет из последних сил.

Ночь – многоточие... Тайн средоточие.
Сон, что сплетают незримые зодчие.
Ночь милосердна к любому из нас:
лечит, тушует, скрывает от глаз.

День – откровенен. Он как двоеточие:
всё, что грядёт, называет воочию.
Каждый в нём знает свой личный шесток.
День в чём-то жёсток и даже жесток.

Ночь нас морочит, колдунья, пророчица.
Каждый в ней видит себя, кем захочется.
День же наводит свой резкий лорнет.
Но день – это да. А ночь – это нет.

Этот день ещё мной ненадёван,
непомечен ничем и никак.
Словно агнец, младенческий овен
в белоснежных небес завитках.

День идёт. Я в него облачаюсь,
в золотистого цвета руно.
Будто заново жить обучаюсь
по его игровому кино.

Досмотрю ли я нынешний ролик,
полный ужасов или красот?
Даст блеснуть ли он мне в главной роли
или вновь, как всегда – эпизод?

Только главное всё же не это:
как дожить, чтоб в итоге всего
не запачкать бы чистого света
белоснежной одежды его?

У Бога в заначке есть тихие улочки детства.
От прошлых богатств они нам остаются в наследство.

Отрою в душе запорошенной тайную нишу,
заснеженных дней вереницу, как жемчуг, нанижу.

Вот улица первой песочницы, первых качелей.
Вот улица первых уроков, что мы получили.

Асфальт на квадратики снова поделенный мелом,
и целит в них камешком девочка в фартучке белом.

Ах, что там за той обозначенной мелом чертою?
Сменяются белые фартучки белой фатою.

Журавль улетает из рук, остаётся синица.
И долго ещё эти улицы будут нам сниться...

Арифметика

Сложение и умноженье
с годами всё трудней давалось,
и вычитанья поражение
всё отняло, оставив малость.

Всё отнято, избыто, взято.
О, как теперь пуста, легка я!
Сижу над долями десятых
и горький корень извлекаю.

Пространство жизни, где рождён,
на сотни метров
теперь заполнено дождём,
холодным ветром.

Чего мы ждём? Чего мы ждём?
Не верь надежде.
Всё перечёркнуто дождём,
что было прежде.

Под воду океана времени
уходят наши города
с людьми, домами и деревьями —
всё погребает волн гряда.

Корабль в пучину погружается,
стирая след земных примет,
а память бьётся и сражается
за каждый крохотный предмет.

И я, ловец земного жемчуга,
высматриваю там, на дне –
вот чей-то голос, речь, вот жест, рука,
то, что всего дороже мне.

Всё холоднее волны памяти,
всё дальше и опасней дно...
Попробуйте – а вдруг достанете
то, что ушло от вас давно.

Ветер, мой побратим,
вместе мы полетим
в край, где нас не бывает.
Чей-то плач позади.
Сверху молча глядит
Тот, кто всё понимает.

Я читаю Акутагаву.
И одно мне ясней всего:
до чего ж на душе погано
было всё-таки у него.

Пустыри, харакири, морги,
заспиртованные мозги...
Не сказала б, что я в восторге
от страниц этих, где ни зги.

Но порою его витийство –
как оттуда благая весть...
«Платоническое самоубийство» –
в этом, право же, что-то есть.

Ружьё судьбы висит над головой,
чтоб выстрелить однажды наудачу.

И Аннушка с бутылкой роковой
спешит на остановку Первой Дачной.

Слепой фортуны мчится колесо.
Закат кровавый полыхает ало.
Неумолимо сыпется песок
и стрелки приближаются к финалу.

Сменит неба тревожную алость
восковой и безжизненный круг.
Боже мой, никого не осталось!
Никого не осталось вокруг.

Души спрятаны в серых одеждах.
Схвачен город решёткой дождей.
Перечёркнуты накрест надежды
на сердечную близость людей.

Но остались, остались при этом
островки среди бед и обид:
город света по имени Света,
Жени с Инной родная планета,
континент под названьем Давид.

На вокзале толчея,
где я ранняя, ничья,
всё гляжу в стекло вагонов –
где же там судьба моя?

Всё не в шутку, а всерьёз.
Майский дождь ослеп от слёз.
Я гляжу в чужие окна –
где ты, принц из детских грёз?

Жизнь проходит – сутки прочь.
Не сестра уже, не дочь,
я гляжу прохожим в лица –
кто же сможет мне помочь?

Нету лиц и нет окон.
Я гляжу в глаза икон –

где ты, где ты, моя радость?
Всё поставлено на кон.

Но молчат святые рты...
Я гляжу в твои черты.
Наконец-то, наконец-то
у меня теперь есть ты!

Если мне чего-то не хватало –
вспоминала: у меня есть ты.
Это утешало и спасало
в нищете тщеты и суеты.

Жизнь мои залечивала шрамы,
раны от утраты и тоски,
и судьбы моей крошила мрамор,
отсекала лишние куски.

Словно скульптор в творческом запале,
оставляя нужные черты...
Всё второстепенное отпало.
У меня теперь есть только ты.

Как трудно оставаться тою,
к которой ты привык давно:
с летящей прядью золотою,
слепящей юной красотою,
дурманящею, как вино.

Года подсунули подмену...
Но в сутках есть волшебный час,
когда я снова, как из пены,
предстану юной и нетленной,
незаменимой, неразменной
в лучах твоих влюблённых глаз.

Грезим мы об алых парусах.
Белый парус ищет бури в море.
Жизнь и смерть мелькают на весах.
Как же выжить в этих волнах горя?

Пьян корабль. На дно уходит век.
Никому не выйти без урона.
Что это?.. Спасение?! Ковчег?
Пропустите, мной оплачен чек!
Глядь, а там, в волнах, – весло Харона.

На Новом кладбище

Наконец-то выбралась я к маме.
Мрамор плит укутали цветы.
А вокруг таблички с именами
утопали в зарослях густых.

Словно руки из земли простёрты
к тем, кого любили на земле.
Как же беззащитны тени мёртвых
в этом мире, тонущем во зле!

Памятник, ограда – как отрада,
память поколений родовых.
А табличка – словно телеграмма
мёртвым душам тел ещё живых:

«Вспомните! Придите! Оградите!
Как нам одиноко тут без вас!»
Но никто не внемлет той обиде,
заросли скрывают их от глаз.

И торчат таблички, как ладони,
тянутся с кладбищенских полей.
Это те, кого совсем хоронят.
Те, кого не помнят на земле.

Отец – каштан, а мама – акация,
над балконом простёрли кисти.
Это не бред, не галлюцинация,
но я слышу, что шепчет листик.

Слова не нужны. Важна интонация.
Как для сердца нужно немного!
Шумит навстречу мне мама-акация,
и я слышу заботу, любовь, тревогу.

Каштан – тот сдержанней. Но я всматриваюсь:
вот чуть дрогнула ветка справа.
И сердце впитывает всё, как матрица.
Каждый жест их – и радость, и рана.

Они – не вместе. Она – красавица.
Он – насуплен, как будто в гневе.
И только кронами соприкасаются –
там, высоко, в поднебесье. В небе.

Дерево заглядывает в окна
с чисто человеческой тоской.
Ветви мокнут и под солнцем сохнут,
что-то шелестят мне день-деньской.

Дерево бормочет и пророчит,
сладко убаюкивает в ночь.
То ли от меня чего-то хочет,
то ли просто хочет мне помочь.

Как ты меня просила –
поговори со мной!
Теперь полна бессильной
душа моя виной.

Спешила, торопилась,
попозже, как-нибудь...
Слабее сердце билось,
твой завершался путь.

Как я потом молила –
скажи хоть слово мне!
Лишь губы шевелились
беззвучно в тишине.

Но слов твоих последних
мне донесло тепло
с балкона ветром летним
акации крыло.

И что шептала мама
мне веточкой в окне –
до боли понимала
душа моя в огне.

Дом твой на Сакко-Ванцетти
я обхожу стороной.
Страшно при солнечном свете
видеть балкончик родной.

Здесь ты, прикрывшись от солнца,
долго смотрела мне вслед.
Сердце моё разорвётся,
взгляд твой не встретя в ответ.

Страшно окошко слепое –
словно бельмо на глазу.
Ты уплыла в голубое.
Я погибаю внизу.

Вот колокольчик. Ты в него звонила,
когда меня хотела позвать.
Теперь твоя кровать – твоя могила.
А мне могилой без тебя – кровать.

Вот колокольчик на лугу зелёном.
Мне кажется, я слышу звон стекла.
И воздух колокольным полон звоном –
то по тебе звонят колокола.

Тянешься ко мне стебельками трав,
звёздочкой мигаешь мне за окном.
Жизнь мою ночную к себе забрав,
ты ко мне приходишь небесным сном.

Я хожу по нашим былым местам,
говорю с пичужкой, с цветком во рву.
Пусть тебе ангелы расскажут там,
как я без тебя живу – не живу.

Твой пресветлый образ во всём вокруг.
Я тебя узнаю во всех дарах.
И надежда греет: а вдруг, а вдруг..
Пусть в иных столетьях, в иных мирах...

Непрошедшее время не знает деленья
на минуты, года и на слово «давно».
Как пространство, огромное, во искупленье
преступлений души нам даётся оно.

Неподвижное время, тяжёлое бремя,
как Сизифова ноша средь ночи и дня,
как всевидящий Аргус, чьё око не дремлет,
свой бессонный зрачок не сводящий с меня.

На лекции

Снова я лица ищу в толпе,
словом моим растревоженные.
Вот одна – словно вещь в себе,
руки молитвенно сложены.

Вот у другой промелькнёт слеза,
катятся, как горошины...
Дольше носите эти глаза,
люди мои хорошие!

Цель жизни – самовыраженье
в картинах, музыке, стихах,
в лица необщем выраженье,
во всём, что побеждает прах
и страх, что все мы в мире тленны
и одиноки во вселенной.

На задворках российской империи,
на окраине прежнего мира
без отличий пустой фанаберии
обходилась легко моя лира.

Без высокой писательской гвардии,
освящающей благословеньем,
без какой-либо студии, партии,
равнодушна к цепей этих звеньям.

Не нуждаюсь я в помочах, поручнях.
Но когда ж у нас будут в почёте
не печати в писательских корочках,
а в читательских душах печати?!

Грамматика вовсе не так уж суха,
ты зря относишься к ней с нелюбовью.
Она не мертвее иного стиха,
слова надевая и плотью, и кровью.

Вот существительного существо
в своём величии перворазрядном,
вот прилагательное, что его
словно в глазурь облекает нарядно.

Глагол – это ангел движения, жизнь.
Мотор, сообщающий ускоренье...
О сколько в грамматике скрытых пружин,
нам облегчающих словотворенье!

Всем нам слежаться в грамматики слой,
уничтожению не подлежащий.
...А я за тобой – не как нить за иглой,
а как сказуемое за подлежащим.

Никто уже не смотрит вслед,
а было время – оборачивались.
Как сбросить нам заклятье лет,
в царевен снова оборачиваясь?

И, кажется, рецепт простой:
целуй меня, целуй сто раз, молю,
и стану, словно в сказке той,
я Василисою Прекрасною.

*На кой мне чёрт душа твоя.
М.Лермонтов*

Толстой страдал, что он не любит крыс.
Всё сокрушался, что так некрасивы.
Гадливости своей не в силах скрыть,
хотел любить, но был любить не в силах.

Никто не любит чёрненькими нас.
Не нужен Сирано и Квазимодо.
Лягушка лишь царевною нужна.
Нет дела никому, что так нежна,
так хороша душа-то у уroda!

Баратынский

*Счастье на проторённых дорогах.
А.Пушкин*

Что, если б Пушкин сумел-таки
Наталью уговорить
отбросить тщеславье мелкое,
желанье блистать, царить, —

уехал к себе в деревню бы,
лелеял родную речь,
скрипя гусиными перьями,
поленья бросая в печь...

Какое б счастье для Родины!
Но слушает кто Сивилл?
А вот Баратынский вроде бы
мечту ту осуществил.

Сбежал в благодать обители,
спасая болящий дух,
и только его и видели!..
А пламень стиха — потух.

Вне блеска балов и раутов,
в блаженстве трудов и нег,

казалось бы, жить да радовать
себя и железный век.

Но мира закон – волнение,
пусть горе, страданье, гнев!
Души водопад в забвении
застынет, оледенев.

И что же ему останется?
Скучать в окруженье чад
и скромно проходим кланяться,
кляня себя по ночам.

Не счастье – а только тень его
среди проторённых троп...
Нигде нет спасенья гению.
Иль телу, иль духу – гроб.

На могиле вдовы Некрасова

Цемент осыпался, ограда мхом покрыта.
Здесь похоронена в пятнадцатом году
вдова Некрасова и, всеми позабыта,
могилка прячется в кладбищенском ряду.

Прости саратовцев и не держи обиду,
что не нашлось им для тебя ни средств, ни рук.
Вдова Некрасова, Феклуша, Зинаида.
В табличке значится – его «жена и друг».

«Зина, усни!» – умолял он не раз,
но разжимала ты веки.
Двести ночей не смыкавшая глаз,
здесь их сомкнула навеки.

Все его мысли тогда – о другой,
ей были – звуки и рифмы,
ну а тебе – только муки его,
только предсмертные хрипы.

Светоч угас, замолчал соловей...
С ним лишь – душою и телом.

В чёрном ходила до смерти своей,
а похоронена – в белом.

Здесь отпевали в какой-то из дней,
город с тобой породняя.
Я перед памятью светлой твоей
голову низко склоняю.

Авдотья Панаева

Она одна лишь знала, кем он был,
каким он был – когда никто не видел.
Как ревновал, и мучил, и губил,
и как её любил он, ненавидя!

Хватался и за нож, и за обреза,
но ангелом-хранителем поэта
пятнадцать лет несла она тот крест,
и многое простится ей за это.

Когда увянет цвет её ланит –
подробные напишет мемуары,
где трогательно верность сохранит
своей былой привязанности старой.

Он смертью все страданья искупил.
Обиды, гнев сменила бабья жалость.
Осталось с ней лишь то, как он любил.
Единственное это и осталось.

Однажды, в нищете, марая лист
кому-то с вечной просьбою аванса,
услышала, как в форточку неслись
слова и звуки дивного романса.

*«Прости! Не помни дней паденья,
тоски, унынья, озлобленья,
не помни бурь, не помни слёз,
не помни ревности угроз...»*

И брызнули из глаз её ручьи,
и замерла рука на пол-дороге.

Чайковский, Римский-Корсаков, Кюи
озвучили божественные строки.

А та, кому романс был посвящен,
сидела у разбитого корыта,
не зная, как жива она ещё,
отвержена, покинута, забыта...

Старушка

Как утром выгляну наружу –
опять я вижу ту старушку,
как с палочкой бредёт она.
Труха, почти фантом, химера,
как будто из стиха Бодлера
иль с Брейгелева полотна.

Я подошла не без опаски.
Одна. Читает. Пишет сказки.
Похожа чуточку сама
на сказку древнюю иль притчу
своим сухим обличьем птичьим,
старушка, милая весьма.

Её не ждёт ничья опека.
Приметой улицы и века,
укутана, как в холода,
и с зонтом при любой погоде
она упорно ходит, ходит,
как ходики, туда – сюда.

Фигурка маленького роста
искривлена, как знак вопроса,
но нет ответа с неба ей.
Судьба чужая манит тайной.
Старушка, гость земли случайный,
прими дань нежности моей.

О бедные чужие бабки
в платках, повязанных сверх шапки,
одной ногой на свете том!
Предчувствием теснит мне душу:
что, если выглянув наружу,

однажды там не обнаружу
старушки вечной под зонтом?

О скверный мой скверик облезлый –
привет полновесному лесу!

Пустой сухостойный уродик –
приветик достойной природе!

Брожу среди кустиков редких –
привет вам, древесные предки!

О Муза, стишок этот тисни –
приветик всамделишной жизни!

Акацию срубило ТСЖ.
Будь проклята Светлана Николавна,
которая, как ясно мне уже,
была в сиём деянье славном главной.

Я ей сказала, жаль, не все слова,
что надо бы, крича у аппарата.
Но что ей это дерево – дрова! –
достойной ученице Герострата.

Оно живое было. И цвело
его худое чахленькое тело
неброско и застенчиво, светло.
Оно летело, пело, шелестело.

Беспомощны отчаянье и гнев.
Не вызвать совесть в дворнике-дебиле.
Была моя акация в окне.
И вот её средь бела дня убили.

Дерево

Оно шумело только мне
и лишь ко мне тянуло ветки.
Как я ждала, что по весне
побеги вырвутся из клетки

и зацветут на радость всем,
благоухая с юным пылом.
Оно зелёное совсем,
оно застенчивое было.

Мне кажется, я слышу плач.
Мне словно душу обкорнали.
А дровосек – его палач –
поставил галочку в журнале.

О, что имеем – не храним
и плачем, ибо не обрящем.
Мне стыдно за людей пред ним,
таким живым и настоящим.

Веточка от срубленной акации –
лишь одну успела я спасти –
одарила щедрыми богатствами, –
за два дня сумела расцвести.

И стоит с набухнувшими почками
на окне в бутылке голубой,
нежными прозрачными листочками
тихо мне залечивая боль.

...Помню твоё худенькое тело я,
неподвижное на простыне.
«Для тебя я всё на свете сделаю», –
ты шептала еле слышно мне,

и рука твоя бессильно падала...
Но теперь, я знаю, из могил
это ты, родная, сердце радуя,
зацвела мне из последних сил.

Стихотропные средства
не помогут уже.
Век нести тебе крест свой,
этот груз на душе.

Лишь могильная яма,
где дороги конец –
вместо тёплого «мама»
и родного «отец».

Мне снились фотографии отца,
которых я ни разу не видала.
Держа альбом у моего лица,
он всё листал, листал его устало.

Вот он младенец. Вот он молодой.
А вот за две недели до больницы...
Шли фотоснимки плавной чередой,
и заполнялись чистые страницы.

Вот с мамой на лавочке весной.
Как на него тогда она глядела!
Вот лестница с такою крутизной,
что на неё взобраться было – дело.

Но ведь давно уж нет того крыльца...
И вдруг в душе догадка шевельнулась.
– Так смерти нет? – спросила я отца.
Он улыбнулся: «Нет». И я проснулась.

Безмолвные воды Стикса
однажды вспугнёт ладья,
в которой, навеки стихнув,
уже буду плыть и я.

И вдруг с тоскою острожной
взмолюсь: «Дорогой Харон!
Оставь мне память о прошлом,
хотя бы её не тронь.

Не дай ей с водою слиться,
– ну вот тебе горсть монет, –
оставь мне родные лица!»
Но он отвечает: «Нет».

Всё глуше тоска потери.
Плывёт по волнам ладья.
Всё дальше и дальше берег,
где душу оставлю я.

Их души за нами следят
там, за небесами.
Цветы на могилах глядят
любимых глазами.
Деревья щебечут слова
родных голосами.
О, как бы летела я к вам –
морями, лесами...

Молитва

Обречена на вечную надежду,
не на земле, не в облаках, а где-то между.
Надежду засветить погасшие огни,
надежду отстоять оставшиеся дни,
в «мы» обратить «они».
Верни и сохрани!
чтоб все как прежде.

Снова буду вилами писать по воде
и искать то, чего нету нигде –
ветра в поле.
И любить – в воздух, в никуда,
там, где одинокая ждёт звезда,
там, на воле.

У тоски моей взяв выходной, я шатаюсь по скверу,
что название носит проспекта «полста Октября».
Всё, что я ни увижу – легко принимаю на веру,
с каждым деревом встречным о вечном в пути говоря.

Могут мимо меня равнодушные двигаться лица,
могут струи дождя мне за шиворот литься пальто,
но не злиться я буду, а тихо любить и молиться,
чтоб однажды услышал и понял неведомо Кто.

Не гони меня, ветер, отсюда. Не каркай, ворона,
предрекая беду, над украденной крохой дрожа.
Ты – моя оборона, любовь. И не знает урона
отдающая всё до последней крупинки душа.